

СЕМЁН МАРКОВИЧ В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

В



ЛОЖЬ СТАЛА КУЛЬТУРОЙ
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, НУЖНА ПРАВДА

В начале было Слово

Семён Маркович

В начале было Слово

«Автор»

2026

Маркович С.

В начале было Слово / С. Маркович — «Автор», 2026 — (В начале было Слово)

Человек записал чужие слова — и слова стали священными. Не потому что правда, а потому что красиво. Красивое прижилось, обросло драконами, превратилось в три религии — и каждая убивает за его запятые. Он заикается. Он не верит в то, что написал. Он помнит, как всё придумывалось — на ходу, у костра, глядя на звёзды через дыру в пологе шатра. Помнит рыбака, который выбрал рыбу, а не Бога. Помнит каменщика, который обещает починить колодец завтра — и завтра длится уже больше тысячи лет. Помнит библиотекаря, который выносил книги из огня, и женщину, которая осталась в городе, когда все ушли. Он помнит всё. И впервые за всю жизнь — пишет правду. Роман о том, как ложь становится верой, вера — войной, а запятая — важнее слова. О людях, которые знают, что врут, — и продолжают, потому что прекратить страшнее, чем продолжить. И о вопросе «зачем», на который нет ответа, — но есть обещание, и обещание работает.

Содержание

Пролог	5
Часть первая До записи	8
Глава первая	8
Глава вторая	13
Глава третья	18
Глава четвёртая	23
Глава пятая	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Семён Маркович

В начале было Слово

Пролог

«Глина»

815 год новой эры. Горы. Место неизвестно.

За стеной лаяла собака – не злобно, а скучающе, как лают псы, которых накормили, но забыли выпустить. Ей отвечала другая, через два дома, и третья, ещё дальше, с хрипотцой, – старая, наверное, или простуженная, – и перекличка эта тянулась от заката и не собиралась кончаться: собакам было нечего сказать друг другу, но молчать они не умели.

Мойша макнул перо в чернильницу. Чернила – ореховые, коричневатые, густые – пахли танином и железом. Он готовил их сам, по рецепту, который выучил в Александрии, у красильщика на улице за библиотекой, – семьсот лет назад, или восемьсот, он давно перестал считать точно – точные числа вызывали оторопь.

Перо застыло над листом.

За окном – городок: белые стены, плоские крыши, минарет на холме (новый, построили три года назад, штукатурка ещё не потрескалась). На площади внизу женщина вешала бельё в темноте – простыни хлопали на ветру, мокрые, тяжёлые, и по звуку Мойша понимал: ветер с запада, значит, ночью дождь. Ослик за углом жевал – ритмично, размеренно, с той сосредоточенностью, с какой ослы подходят к любому занятию, будь то жевание, ходьба или упрямство.

На столе перед ним лежали три свитка.

Первый – пергаментный, телячий, с потёртостями на сгибах и бурым пятном в углу (вино, пролитое в Иерихоне, – когда? – давно, когда Иерихон ещё стоял, а вино в нём было кислое и дешёвое). На пергаменте – его почерк, ранний, крупный, торопливый: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

Второй – папирусный, египетский, хрупкий, с волокнами, проступающими на свет, как жилки на старческой руке. Копия. Не его почерк – чей-то, аккуратный, ученический. Тот же текст, но с ошибкой в третьей строке: «носился» заменено на «парил». Мойша когда-то злился на это «парил». Носился – это движение, хаос, энергия. Парил – это покой. Бог, который парит, – не тот Бог, которого он имел в виду. Но переписчик решил иначе, и за семьсот лет «парил» прижилось, и миллионы людей молились Богу, который парит, а не носится, и Мойше оставалось только скрипеть зубами.

Третий свиток – чистый. Без единого слова. Пергамент – свежий, белый, ещё пахнущий известью, которой обрабатывают кожу. Этот – для «Особого мнения».

Собака за стеной перестала лаять. Вместо неё – детский плач, через два дома, короткий, сонный, и тут же – женский голос, невнятный, успокаивающий, и плач стих, и снова тишина, и снова собака – как будто ждала, пока ребёнок уснёт, и продолжила.

Мойша положил перо и встал. Колени хрустнули – не от старости (он выглядел на тридцать, как и две тысячи лет назад), а от привычки сидеть, скрючившись, над столом, – и он подошёл к окну.

Городок спал – почти. Масляная лампа горела в доме напротив, и через щель в ставне виднелась тень: мужчина за столом, склонённый над чем-то, – может, считал деньги, может, читал, может, писал письмо. В конце улицы, у поворота к колодцу, сидели двое – Мойша видел огоньки трубок и слышал бормотание. Арабский, на котором он говорил последние сто лет, ещё цеплялся за горло непривычными гортанными звуками, хотя вроде бы за сто лет можно

привыкнуть к чему угодно. За сто – можно. За тысячу – нельзя, потому что после тысячи начинаешь путать языки, и однажды в лавке скажешь «шалом» вместо «салам», и лавочник посмотрит странно, и нужно будет снова переезжать.

Звёзды висели над крышами – крупные, яркие, равнодушные. Те же звёзды, которые Гершон показывал Нахуму. Те же, про которые Мойша потом написал: «И сотворил Бог два светила великие... и звёзды». Звёзды в тексте шли через запятую, после солнца и луны, – и правильно: в тексте они вторичны, а в жизни – наоборот. солнце слепит, луна обманывает, а звёзды просто есть, и в этом их сила, и в этом Гершон был прав, когда говорил Нахуму, что звёзды – это души, хотя никаких душ нет, и звёзды – это газ, или огонь, или что-то, чему Мойша не знал названия, но что не имело отношения ни к Нахуму, ни к его вопросу, ни к ответу, который Гершон придумал на ходу, как придумывал всё.

Мойша вернулся к столу, сел и взял перо.

Больше двух тысяч лет он поправлял Гершона. Сначала – устно. «Ты вчера г-говорил – звёзды, а сегодня – земля предков. Нельзя и то и другое, они живут рядом, встретятся, сравнят». Потом – на глине. Потом – на папирусе. Потом – на пергаменте. Потом – на бумаге, которую арабы привезли из Китая и которая была тоньше папируса, легче пергамента и дешевле глины, и за которую Мойша заплатил в лавке на площади четыре дирхема, и лавочник сказал: «Хорошая бумага, мудрец, что будете писать?» – и Мойша ответил: «П-правду», – и лавочник засмеялся, потому что решил, что заика шутит.

Перо коснулось пергамента. Первая строка.

И рука не дрогнула. И заикание – пропало.

Оно всегда пропадало, когда он писал. Говорить – спотыкался на каждом слове, как будто рот не хотел выпускать то, что голова придумала. Писать – рука шла ровно, буквы ложились одна к другой, и мысль лилась без запинки, как вода из кувшина, – и это было единственное в жизни, что Мойша делал без усилий, и единственное, за что ему стоило извиняться.

Потому что именно это – убивало.

Не идея убивала – идея принадлежала Гершону, грубая и простая, как камень из ручья: люди страдают, надо утешить, скажи им что-нибудь красивое – про звёзды, про землю, про справедливость. Идею можно было перекачивать в ладонях и не порезаться.

Убивала – форма. Музыка слов, которую Мойша вкладывал в сырьё Гершона. «Земля же была безвидна и пуста» – это не Гершон. Гершон сказал бы: «Сначала ничего не было». Мойша сделал из «ничего не было» – поэзию. И поэзия прижилась. И люди запомнили не камень, а скульптуру. И поверили не в идею – в ритм.

За две с лишним тысячи лет ритм этот стал молитвой, молитва обросла верой, вера воздвигла храм – и храм сгорел. Из пепла выросли три религии, и каждая воевала с двумя другими, и каждая цитировала его слова, и каждая убивала за его запяты.

Мойша макнул перо. Чернила потекли – ровно, без клякс.

Собака за стеной наконец замолчала. Может, уснула. Может, нашла кость. Может, поняла, что лаять бессмысленно, – но это вряд ли: собаки не бросают бессмысленных занятий, и в этом они надёжнее людей.

Он писал.

Не Тору – с Торой покончено, Тора живёт без него, как река живёт без истока, забыв, откуда потекла. Он писал другое. Три страницы. Без сомнений, без оговорок, без привычного «п-правильно ли».

Правда.

Впервые за всю жизнь – чистая, неразбавленная правда. Без ритма, без музыки, без поэзии. Голые слова, которые он раньше заворачивал в метафоры, как заворачивают нищего в чужое пальто, – теперь стояли голыми, и ему не было стыдно за их наготу – стыд тоже был из его арсенала, и арсенал он складывал у двери, как складывают инструменты, уходя с работы.

На площади скрипнула калитка. Чьи-то шаги – босые, шлёпающие по камню. Женщина снимала бельё – передумала оставлять на ночь, видно, тоже поняла, что будет дождь. Простыня хлопнула последний раз – и тишина.

Мойша дописал первую страницу. Перечитал. Кивнул – сам себе, как кивал когда-то, когда вычитывал первые глиняные таблички и находил удачную строку.

Строка была удачная. Строка была: «Бога нет. Я его придумал».

Шесть слов. Без заикания. Без музыки. Без ритма.

Он продолжил.

Ветер с запада усилился. Ставня задрезбуждала – петля ржавая, надо бы починить, но Мойша не чинил ставни, это ремесло Шимона, а Шимон далеко, и ставня останется незакреплённой, как колодец, как ступенька, как всё, за что Шимон брался и откладывал на завтра. Завтра длилось уже больше тысячи лет и не собиралось заканчиваться.

Мойша писал. Перо скрипело – тростниковое, тонкое, обрезанное под углом, – и звук был единственным в доме, если не считать ветра, и ставни, и собаки, которая проснулась и начала снова, и ослика, который перестал жевать и, судя по тишине, уснул. Мойша завидовал ослику: ослик не писал «Особых мнений» и не уходил из организаций, в которых состоял больше двух тысяч лет.

К полуночи – три страницы.

Он положил перо. Подул на чернила – привычка, бессмысленная при ореховых чернилах, которые сохнут быстро, но привычки не спрашивают разрешения, они приходят и остаются, как бессмертие, как заикание, как запах полыни от одежды Гершона.

Гершон.

Мойша свернул пергамент. Перевязал бечёвкой – тонкой, льняной, купленной на том же рынке, где покупал бумагу. Положил на стол. Сверху – камень, чтобы не унесло ветром. Камень – обычный, серый, подобранный у дороги. Гершон собирал камни с надписями. Мойша – без. Камень без надписи честнее камня с надписью: надпись – это обещание, а обещание – это то, чем они торговали всю жизнь, и хватит.

Он встал. Задул лампу. Комната погрузилась в темноту – не полную: луна пробивалась через щель в ставне и ложилась полосой на пол, на стол, на три свитка – старый, чужой и новый.

Утром он уйдёт. Без прощания, без записки (записка – на столе, это не записка, это приговор, или оправдание, или то и другое, он до сих пор не решил). Дорога на восток – через горы, через перевал, через ту деревню, где пекут лепёшки с тмином и козий сыр продают обёрнутым в виноградные листья. Дальше – не знает. Впервые за всю жизнь – не знает, куда идёт. И это – свобода. Или ужас. Или то и другое, как всегда, потому что свобода и ужас – синонимы для того, кто привык, что за него решает кто-то, будь то Гершон, или Комитет, или текст, который давно живёт без автора.

Собака за стеной замолчала. Окончательно, до утра.

Мойша лёг. Закрыв глаза. И – как всегда, как каждую ночь, как каждый раз перед сном за столетия – зашевелил губами, беззвучно, складывая слова в строку. Не молитву – строку. Последнюю.

Больше двух тысяч лет я поправлял Гершона. Он рассказывал – я слушал. Он ошибался – я исправлял. Он забывал, что говорил вчера, – я помнил. А потом записал. И записанное стало священным. И священное стало вечным. И вечное стало чужим.

Я ухожу не потому, что устал. Я ухожу потому, что увидел: люди верят не в Гершона. Люди верят в мои запятые.

А мои запятые – враньё.

Красивое – но враньё.

Дождь начался под утро – мелкий, тёплый, равнодушный ко всему, что происходило внизу.

Часть первая До записи

Глава первая

Нахум

Козёл залез на жертвенный камень и стоял там с видом существа, которому открылась истина. Бородатый, тощий, с жёлтыми глазами навывкате – он смотрел на лагерь сверху вниз и жевал, и нижняя челюсть ходила из стороны в сторону с той невозмутимой размеренностью, которая возможна только у тех, кто ни разу в жизни не задал себе вопрос «зачем».

Я завидовал козлу. Не его положению – камень был жёсткий, ветер на нём продувал до костей, и трава на вершине росла колючая, жухлая, от которой скулы сводит, – а его способности жевать и не думать. За всю свою жизнь я так и не научился.

День начался с крика – женского, из дальнего шатра, того, что ставили в прошлом месяце, когда пришли три семьи с юга, из-под Кадеша. Кричала Рахиль, жена Нахума. Крик был не болевой и не испуганный – хуже: тягучий, тёмный, с той вибрацией, от которой собаки прижимают уши, а козы перестают щипать колючки. Так кричат, когда тело ещё живо, а человек внутри – уже нет.

Шимон первым обернулся. Он стоял у колодца – по пояс голый, мокрый, со следами верёвки на ладонях – и подтягивал бадью, и мышцы на его спине перекатывались, как камни под кожей, и вода плескалась через край и стекала по камням в пыль. Услышав крик, он выпустил верёвку, бадья ухнула обратно в колодец, в глубине плеснуло, и тишина длилась секунду – а потом снова крик, и собака у соседнего шатра вскочила и завывала в ответ, и козёл на камне повернул голову, но жевать не перестал.

Я сидел у входа в свой шатёр и чинил ремешок от сандалии – кожа лопнула на сгибе, третий раз за год, и каждый раз я зашивал тем же сухожилием, и сухожилие становилось короче, а сандалия – уже, и нога в неё влезала с трудом, но новую было негде взять: караван из Ецион-Гевера не приходил уже два месяца, и торговцы, по слухам, ушли на запад, к побережью, где финикийцы платили медью за зерно, которого у нас тоже не было.

Гершон вышел из своего шатра – быстро, широко, руки расставлены, плечи развёрнуты, как выходит человек, привыкший действовать раньше, чем думать. От него пахло полынью – как от одежды, так и от него самого, полынный запах въелся в кожу за столетия и не вымывался ничем, ни водой, ни маслом, ни временем. Он посмотрел в сторону крика, сощурился – глаза его, светлые, жёлтые, суживались в щёлочки, когда он оценивал ситуацию, – и пошёл.

Не спросил. Не подождал. Пошёл.

Я отложил сандалию и встал. Не потому что он позвал – он не звал, – а потому что знал: если Гершон идёт на крик, значит, будет говорить, а если будет говорить – я должен слышать. Не для удовольствия. Для контроля. Гершон говорил каждый раз по-разному, и каждый раз – красиво, и каждый раз – неточно, и кто-то должен был помнить, что именно он наговорил в прошлый раз, и позапрошлый, и сотни раз до того, – чтобы сегодняшние слова не противоречили вчерашним, а вчерашние – позавчерашним.

Этот кто-то – я.

Шатёр Нахума стоял на дальнем краю лагеря, у камней, за которыми начинался пологий спуск к высохшему руслу – зимой там текла вода, сейчас – песок, белёсый, мелкий, похожий на муку. У входа – две пары сандалий, одна большая, мужская, с заплатой на подошве, другая – детская, маленькая, левая. Только левая. Правую, видимо, потеряли или съела собака. Навес из козьей шкуры бросал пятнистую тень на вход, и в этой тени сидели двое мальчиков.

Старший – лет двенадцати, тощий, ключицы торчат, как рукоятки, губы обветрены – сидел прямо, руки на коленях, лицо неподвижное. Он не плакал. Он уже знал, что отец умирает, и принял это тем жёстким, сухим способом, каким дети принимают вещи, которые взрослые пытаются от них спрятать. Младший – лет шести, с расцарапанными коленями и грязным пальцем во рту – смотрел на старшего и не понимал, но чувствовал, что нужно молчать, и молчал, и жевал палец вместо еды, потому что есть ему никто не предлагал уже третий час.

Я присел рядом с мальчиками. Младший вынул палец изо рта и посмотрел на меня.

– Хочешь финик? – спросил я.

Он кивнул. Я достал из кармана – последний, сморщенный, с песчинкой на боку. Мальчик взял обеими руками, осмотрел, сдул песчинку и начал есть – медленно, серьёзно, откусывая по крошке, как едят те, кто не уверен, что получит ещё.

Старший не повернулся. Смотрел перед собой, на высохшее русло, где два месяца назад была вода, а теперь – ничего.

Гершон уже вошёл внутрь. Я слышал его голос – приглушённый, сквозь козью шкуру, – и голос Рахили, тоньше, надломленный, с трещиной посередине, как горшок, который ещё держит воду, но скоро расколется.

Внутри было тесно: циновка, козья шкура поверх, глиняный кувшин с водой – запотевший, значит, свежая, кто-то принёс утром, – и миска с нетронутой кашей, и мухи над миской, три штуки, ленивые, сытые. Запах: пот, козья шерсть, что-то кислое – то ли прогорклое масло, то ли болезнь, то ли тот запах, который появляется у людей, решивших перестать жить, – не гнилой, но чужой, посторонний, как будто тело начало отделяться от хозяина ещё до смерти.

Нахум лежал на циновке. Глаза открыты – но не смотрели. Не на потолок, не на стены, не на жену, сидевшую у его головы с мокрой тряпкой в руках. Глаза смотрели сквозь. Губы шевелились – и я наклонился: давно научился слышать слова, которые люди произносят на грани, между «ещё здесь» и «уже нет», – и услышал:

«Зачем. Зачем. Зачем».

Рахиль тёрла ему лоб мокрой тряпкой. Руки её – в трещинах, ногти обломаны, на запястье – браслет из верёвки, кривой, кем-то сплетённый неумело, – дрожали. Она посмотрела на Гершона снизу вверх, и в глазах её стояла не надежда – требование. Она не просила. Она требовала: сделай что-нибудь.

Гершон присел рядом с Нахумом. На корточки, по-пастушьи – тяжело, с хрустом в коленях, хотя какие колени, когда тело не стареет. Но привычка приседать с хрустом осталась – может, от отца, смертного, который умер стариком и хрустел каждым суставом, и Гершон перенял, как перенимают жесты тех, кого любили, – бессознательно, навсегда.

Он положил руку Нахуму на лоб – поверх мокрой тряпки, и Рахиль не убрала свою, и они оба держали: жена – мокрую ткань, Гершон – руку на ткани, – и Нахум вздрогнул, как вздрагивает человек, которого окликнули по имени, когда он уже собрался уйти.

За стенкой шатра – жизнь. Я слышал: кто-то рубил дрова – стук, пауза, стук. Женщина у колодца ругала дочь за разбитый кувшин. Козёл на камне наконец спрыгнул – копыта стукнули о землю, сухо, коротко. Ребёнок где-то засмеялся – чужой ребёнок, чужой смех, чужая жизнь, которая шла своим ходом, пока в этом шатре заканчивалась другая.

– Нахум, – сказал Гершон.

Голос – не громкий. Не торжественный. Обычный, рабочий, как говорят плотнику «подержи» или соседу «подвинься». Гершон не готовился. Он никогда не готовился. В этом была его сила – и моя головная боль: неподготовленные слова не поддаются контролю, и всякий раз выходило по-новому, и каждый раз я должен был запоминать эту новую версию и сверять с предыдущими, и у меня от этого болели виски, буквально, физически, хотя бессмертные, по идее, не болят, но виски – болели.

– Нахум, ты спрашивал «зачем».

Губы Нахума перестали шевелиться. Прислушался – или то, что от него осталось, прислушалось.

– Я знаю ответ, – сказал Гершон.

Я стиснул зубы. Он не знал. Никакого ответа не было. Ни разу за всё время. Я проверял. Перебрал все варианты, какие помнил, какие слышал, какие придумывал в бессонные ночи – а бессонных ночей за долгую жизнь набирается столько, что хватит на отдельное существование, состоящее только из темноты и потолка. Ответа не существовало. Но Гершон сказал «знаю» – и Нахум прислушался, и Рахиль подняла голову, и я – стиснул зубы и стал слушать, потому что Гершон сейчас будет врать, и врать будет красиво, и мне нужно запомнить каждое слово, чтобы потом, когда он расскажет следующему – другое, – не допустить противоречий.

Гершон оглянулся. Искал начало. За день, пока мы сидели у Нахума, свет за пологом шатра сменился сумерками, и сумерки – темнотой, и в темноте, через дыру в ткани, проступил клочок неба. Звёзды проступали – одна, другая, горсть – и Гершон посмотрел на них и начал.

– В начале была пустота, – сказал он. – Тьма. Ни песчинки, ни капли. Ничего.

Рахиль замерла. Тряпка в её руке перестала двигаться.

– А потом кто-то захотел видеть. И сказал – да будет свет.

Он протянул руку, зачерпнул горсть песка с пола, просыпал сквозь пальцы. Песок зашуршал, сухой, тёплый.

– И захотел на что-то встать. И стала земля. Вот эта, Нахум, – под твоей спиной.

Глаза Нахума дрогнули. Сдвинулись – чуть-чуть, в сторону руки Герсона, из которой сыпался песок.

– И захотел, чтобы свету было куда уходить. И стало небо. И звёзды.

Гершон показал на дыру в пологе. Нахум проследил взглядом – медленно, тяжело, как поворачивает голову человек, для которого каждое движение стоит усилия.

– Видишь? Каждая – слово. Послание. Когда-нибудь научимся читать.

Я стоял у входа и слушал, и записывал – не на глине, не на коже, а в голове, как делал каждый раз, строка за строкой, интонация за интонацией. Звёзды. Земля. Свет. На прошлой неделе, пастуха из Арада, который похоронил жену, Гершон говорил другое: не про звёзды, а про землю предков, про кости в земле, про корни, которые держат живых, – и пастух поверил, и встал, и пошёл пасти овец. А Нахуму – звёзды. Почему звёзды? Потому что Нахум лежал на спине и смотрел вверх, и Гершон пошёл за его взглядом, как пастух идёт за стадом, – не ведёт, а следует. В этом – приём. Не навязывать свой образ, а подхватить чужой. Нахум смотрел на звёзды – и Гершон дал ему звёзды. Если бы Нахум смотрел в землю – получил бы землю. Если бы в огонь – огонь.

Импровизация. Голая, нагая, без сетки. Каждый раз – другая.

И каждый раз – моя проблема.

– И сделал человека, – говорил Гершон, и голос его стал тише, и Рахиль наклонилась ближе, и мальчик за стенкой шатра перестал жевать финик, – потому что устал говорить в пустоту. Потому что свет без глаз, его видящих, – просто свет. Земля без ног, по ней идущих, – просто земля.

Пауза. Гершон посмотрел на спящих мальчиков – нет, на одного, на младшего, который заснул, свернувшись у входа, с пальцем во рту и финиковой косточкой на ладони.

– Ты, Нахум. Вот зачем. Чтобы смотреть на звёзды. Чтобы чувствовать землю под ногами. Чтобы пустота перестала быть одинокой.

Нахум заплакал.

Не как плачут от горя – с рыданиями, с судорогами, с тем надрывом, от которого рвётся голос. Он плакал тихо, и слёзы текли по вискам в циновку, и Рахиль плакала рядом, и Гершон – нет, Гершон не плакал, но я видел его руку на лбу Нахума, и рука эта подрагивала, и полынью

пахло сильнее обычного, как будто запах усиливался вместе с тем, что Гершон чувствовал, – не показывал, но чувствовал.

Красиво. Каждый раз – красиво. Тысячу лет – красиво.

И каждый раз – ложь.

Утром Нахум попросил воды. Рахиль несла кувшин обеими руками – тяжёлый, полный до краёв, – и расплескала половину на песок, и не заметила, и Нахум пил, и вода текла по бороде, и он смеялся, и Рахиль смеялась, и младший мальчик смеялся, не понимая чему, просто потому что мать смеётся, а когда мать смеётся – можно.

Старший не смеялся. Стоял в стороне, руки в карманах, лицо – то же, что вчера: жёсткое, сухое, принявшее. Я подумал: этот не поверит. Этот видит, что отца спасли словами, и запомнит, и когда-нибудь спросит – какими словами? – и я не смогу ответить, потому что слова были Гершона, а Гершон к тому времени расскажет тому же мальчику другую версию, и мальчик сравнит, и не совпадёт.

Я подошёл к Гершону. Он сидел у своего шатра, ел лепёшку – ровными кусками, макая в масло, – и смотрел на восход, и лицо его было обычным: не торжествующим, не усталым, а рабочим, как лицо пастуха, который загнал стадо и сел передохнуть.

– Красиво, – сказал я.

– Спасибо.

– Но ты в п-прошлый раз говорил иначе.

Он повернулся. Масло блестело на пальцах. За его спиной женщина тащила вязанку хвоста, ребёнок бежал за ней и спотыкался, и козёл снова забрался на камень – тот же козёл, то же выражение, та же челюсть из стороны в сторону.

– Когда – в прошлый раз?

– Пастуху из Арада. Два месяца назад. Ему ты г-говорил – не звёзды. Земля предков. Кости. Корни.

– И?

– А если Нахум встретит пастуха?

Гершон откусил лепёшку. Жевал. Проглотил. Вытер пальцы о колено.

– Не встретит. Арад – далеко.

– Арад – три дня п-пути. Караванщики ходят. Женщины на рынке г-говорят. жена Нахума расскажет сестре, сестра – мужу, муж – соседу, сосед поедет в Арад за солью и п-поговорит с пастухом. И пастух скажет: «Мне говорили – земля». А Нахум скажет: «Мне – звёзды». И оба придут к нам и спросят: так земля или звёзды? И что ты ответишь?

Гершон посмотрел на меня. Глаза – жёлтые, в утреннем свете почти золотые. Он улыбнулся – той улыбкой, которая означала: я слышу, но не согласен, и не буду согласен, и спорить бесполезно, но ты споришь, и это забавно.

– Отвечу: и то и другое. Звёзды наверху, земля внизу, а человек – п-посередине, и обе правды – его.

– Это не ответ.

– Это лучше, чем ответ.

Он доел лепёшку, вытер руки, встал. Потянулся – хрустнули плечи, как у молодого мужчины после сна, хотя он спал мало и стариком не выглядел, хотя был старше любого старика в этом лагере, и в соседнем, и во всех лагерях от моря до пустыни.

– Мойша, – сказал он, и голос стал серьёзным, без улыбки. – Нахум – жив. Рахиль – не вдова. Мальчики – не сироты. Четыре жизни. Этой ночью.

– Четыре жизни – за одну ложь.

– За одну историю.

– Историю, которая завтра п-противоречит другой истории.

– Завтра – завтра. Сегодня – четыре живых человека. Ты хочешь, чтобы я выбирал между точностью и жизнью?

Я хотел ответить – и не ответил, потому что он был прав. Четыре жизни. Четыре. И Нахум пил воду и смеялся, и Рахиль смеялась, и где-то в этом смехе тонула ложь, растворялась, как соль в воде, – и вода становилась солёной, но пригодной для питья, а ложь – невидимой, но никуда не девшейся.

Я проглотил слова. Молча пошёл к своему шатру.

За мной – голос Шимона, от колодца:

– Мойша! Мойша, ты знаешь, колодец на южной стороне осыпается. Третий день. Камни в воду сползают.

– Так у-укрепи.

– Завтра!

Я не обернулся. Завтра. Всё – завтра. Колодец – завтра, правда – завтра, ответ на вопрос «земля или звёзды» – завтра.

Завтра длилось уже не первый век и не собиралось кончаться.

Нахум прожил ещё сорок лет. Я запомнил его – не потому что первый, не потому что особенный, а потому что в ту ночь Шимон стоял рядом со мной у входа в шатёр и видел это впервые. До Нахума были другие – десятки, а может, и сотни, – но Шимон при них не присутствовал, а в ту ночь – присутствовал, и лицо его менялось вместе с лицом Нахума: от серого к живому, от растерянного к потрясённому. Для нас с Гершоном это был рабочий вечер. Для Шимона – откровение. И я запомнил Нахума глазами Шимона, потому что свои давно перестали удивляться.

Не из-за вопроса – вопрос был обычный, «зачем», его задавали все рано или поздно, и Гершон отвечал каждому, и каждый раз по-другому, и я стоял рядом и считал версии, как пастух считает коз: одна потерялась – найди, две совпали – разведи, три противоречат – спрячь ту, что слабее.

Нахум остался из-за последних слов. Он умер стариком, в окружении внуков – младший мальчик с финиковой косточкой вырос, женился, родил троих, – и последнее, что Нахум сказал, я слышал сам, потому что стоял у входа в шатёр, как стоял десятки раз у десятков шатров:

– Иду посмотреть на звёзды. Ближе.

Он умер с улыбкой. С ложью Гершона на губах. И ложь эта была последним, что он произнёс, – и единственным, во что верил до конца.

Сорок лет счастья за одну импровизацию у костра. Хорошая сделка? Чудовищная? Я до сих пор не знаю. И не решу – ни за сто лет, ни за тысячу.

Козёл к тому времени давно сдох – козлы живут десять лет, а этот прожил восемь и умер от несварения, потому что съел чей-то пояс. Камень, на котором он стоял, – остался. Камни живут дольше козлов, дольше людей, дольше лжи.

Но не дольше вопроса.

«Зачем» – звучит до сих пор. В каждом лагере. В каждом веке. На каждом языке. И каждый раз Гершон отвечает – по-новому, по-разному, с тем же блеском в жёлтых глазах. И каждый раз я стою рядом, и считаю версии, и скриплю зубами, и молчу.

Потому что четыре жизни.

Потому что Рахиль смеялась.

Потому что мальчик ел финик.

Потому что я – не Гершон. Я не умею говорить. Я умею слушать и п-поправлять. И этого достаточно. Или нет. Но другого – нет тоже.

Глава вторая

Тысяча Нахумов

До Нахума были другие.

Я не помню, когда начал считать, – вернее, помню, что не считал, потому что считать было нечего: Гершон говорил с людьми так, как дышал, без усилия, без плана, без той паузы, которая отделяет намерение от действия у тех, кто привык думать прежде, чем открыть рот. Он видел горе – и шёл к нему. Видел растерянность – и заговаривал. Видел пустоту в чужих глазах – и заполнял её словами, которые придумывал на ходу, на каждом шагу заново, и каждый раз слова были другими, и каждый раз – убедительными, и каждый раз – моей головной болью.

Я шёл за ним. Не рядом – чуть позади, на полшага, чтобы слышать, но не мешать. Моя работа начиналась после его работы: когда Гершон уходил от утешённого, я оставался – в голове, не в шатре, – и укладывал сказанное на полку, рядом с тем, что было сказано вчера, и позавчера, и в прошлом году, и в позапрошлом десятилетии. Полки множились. Утешённые множились. Версии множились. А я – один, и голова у меня одна, и память, хоть и длинная, имеет привычку складывать новое поверх старого, как складывают козьи шкуры в углу шатра, – и рано или поздно нижние начинают преть.

В оазисе у Кадеша умирал ребёнок.

Мальчику было четыре, может пять, – в пустыне возраст считают не по годам, а по зубам, и у этого уже выпали два передних и один боковой, что означало примерно пять, если считать по зубам, и бесконечность, если считать по материнскому горю. Лихорадка свалила его на третий день пути от колодца, и к вечеру тело пылало так, что тряпка, которой мать обкладывала ему лоб, высыхала за минуту, и приходилось макать снова, и снова, и вода в кувшине убывала, а жар – нет.

Мать звали Тамар, и она была из тех женщин, у которых руки никогда не лежат без дела: если не стирает – месит, если не месит – вяжет, если не вяжет – чинит, если нечего чинить – рвёт и чинит заново. Сейчас руки её были заняты мокрой тряпкой и кувшином, и движения стали механическими, как у человека, который делает что-то не потому, что это помогает, а потому, что остановиться страшнее, чем продолжать.

Гершон вошёл в шатёр без спроса – он всегда входил без спроса, и это раздражало меня тогда и продолжает раздражать сейчас, спустя столетия, потому что есть вещи, которые не меняются, и привычка Герсона ломиться в чужое горе без стука – одна из них.

Он присел рядом с мальчиком. Положил ладонь на горячий лоб – поверх материнной тряпки, как делал всегда, – и заговорил.

На этот раз – не про звёзды. Про реку.

– Видишь реку, малыш? За холмом, за тем, где растёт смоковница, – течёт река. Вода прохладная, зелёная, в ней рыбы длиной с твою руку, серебряные, скользкие. На берегу – трава, мягкая, и можно лечь на спину и смотреть в небо, и небо там не белое, как здесь, а синее, густое, и облака в нём – как овцы на лугу, и пастух их – ветер.

Мальчик не слышал. Глаза были закрыты, и дыхание шло рваными толчками, и пальцы на одеяле подрагивали, как подрагивают листья на ветру, который не виден, но ощутим.

Гершон продолжал. Голос стал тише, перешёл почти в шёпот, и Тамар замерла с тряпкой в руке и слушала, и на лице её появилось выражение, которое я видел сотни раз и которому так и не подобрал названия, – не надежда и не вера, а что-то между: потребность верить, такая острая, что она сама себя создаёт, как голод создаёт запах еды там, где еды нет.

Мальчик умер к утру.

Гершон сидел у входа в шатёр и смотрел на рассвет, и от него пахло полынью сильнее обычного, и руки его лежали на коленях, и он не двигался, и я знал, что не нужно подходить, и не подходил, и мы молчали, пока солнце не встало и не залило лагерь жёлтым, безжалостным, равнодушным светом, при котором всё становится видно: и шатёр, из которого Тamar вынесла тело, завернутое в козью шкуру, и яму, которую Шимон копал у камней, молча, ритмично, вонзая заступ в песок с той сосредоточенностью, с которой он делал всё, что касалось рук, – хорошо, быстро, без разговоров.

Когда яма была готова и тело опустили, и Тamar стояла на краю, сухая, пустая, без слёз, – Гершон подошёл к ней. Я думал, он заговорит снова, скажет что-нибудь про реку, или про звёзды, или про ту ложь, которая утешает, но он не заговорил. Он взял её за руку и стоял рядом, и молчал, и полынь мешалась с запахом свежевырытой земли, и мне впервые пришло в голову, что молчание Гершона действует сильнее его слов, – но этого я ему никогда не сказал, потому что если бы сказал, он начал бы молчать намеренно, а намеренное молчание фальшивит так же, как фальшивит намеренная правда.

Тamar потом целовала ему руки. Я стоял в стороне и думал: если бы она знала, что реку он придумал по дороге к шатру, а серебряных рыб – уже внутри, глядя на подрагивающие пальцы мальчика.

Не помогло.

Но она целовала ему руки – и это что-то значило, хотя я не мог сформулировать что.

В деревне у подножия холма – каменные дома, низкие, с плоскими крышами, на которых сушился инжир – Гершон утешал старика, потерявшего сына на войне. Сын ушёл с отрядом на восток, в сторону Эдома, и не вернулся, и вместо сына вернулся его пояс, привезённый торговцем, – кожаный, потёртый, с бронзовой пряжкой, на которой были нацарапаны две буквы, имя, и пряжка была погнута, и старик держал её обеими руками и смотрел на вмятину, как будто по форме вмятины можно узнать, как именно умер тот, кто носил этот пояс.

Гершон рассказал ему про справедливый суд. Не про звёзды – судя по всему, он решил, что старому воину звёзды покажутся слишком мягкими, слишком женскими, и выбрал другое: суд, весы, левая чаша и правая, и праведные идут направо, в свет, а грешные – налево, в темноту, и сын его, павший в бою за своих, стоит на правой чаше, и чаша перевешивает, и судья кивает, и ворота открываются.

Старик слушал. Пряжка в его руках перестала дрожать.

Я стоял у двери и считал: третья версия за месяц. Нахуму – звёзды. Тamar – река. Старику – суд. Три истории, каждая прекрасна, каждая убедительна, и каждая противоречит двум остальным.

Вечером, когда старик уснул с пряжкой в руке, а на улице женщины толкли зерно в каменных ступах и ритмичный стук разносился по деревне, как пульс, – я подошёл к Гершону.

– Три версии, – сказал я.

Он жевал лепёшку. Макал в оливковое масло – зеленоватое, густое, с осадком на дне плоски. На улице ребёнок гнал козу палкой, коза упиралась, ребёнок орал, коза бляла, и ни один из них не собирался уступить.

– Три – это п-проблема, – продолжил я.

– Три – это разнообразие, – ответил Гершон с набитым ртом.

– жена Нахума ходит к Тamar за солью. Тamar расскажет про реку. жена Нахума вернётся и спросит мужа: какая река? Нам говорили про звёзды, не про реку. Нахум придёт ко мне и спросит. Что я ему скажу?

Гершон проглотил, вытер пальцы о колено – он всегда вытирал о правое, никогда о левое, и за столетия правое колено его одежды было неизменно темнее левого – и посмотрел на меня с той улыбкой, которая означала, что он слышит, но отвечать не собирается, потому что ответ

ему кажется очевидным, а мне – нет, и разница между нами в том, что он живёт в мире очевидностей, а я – в мире противоречий, и оба мира существуют одновременно, и оба – правы, и оба – безнадёжны.

– Скажешь, что и то и другое, – ответил он наконец. – Звёзды наверху, река внизу, а между ними – лестница, и по ней поднимаются те, кто заслужил.

– Это четвёртая версия.

– Это объединяющая версия.

– Это ещё одна ложь поверх трёх.

– Это называется «богословие», Мойша. Через пару тысяч лет они придумают это слово сами. Мы просто опередили.

Я открыл рот – и закрыл. Потому что он, как обычно, вывернулся, и вывернулся красиво, и я понимал, что четвёртая версия, объединяющая первые три, создаёт пятую проблему: теперь нужно помнить не три истории, а четыре, и следить, чтобы четвёртая не противоречила первым трём, что она делала уже сейчас, в момент произнесения, потому что в звёздной версии после смерти поднимаются вверх, в речной – идут по горизонтали, в судебной – стоят на месте и ждут, а в объединяющей – поднимаются по лестнице, которой нет ни в одной из трёх, и откуда она взялась, из какого запаса импровизаций Гершон извлёк эту лестницу, я не знал и спрашивать не хотел.

На рынке в оазисе – пыль, крик торговцев, верблюды стоят в ряд и жуют, роняя зелёную пену на песок, мальчишки носятся между ногами взрослых, кто-то продаёт финики из корзины, кто-то – соль из мешка, привязанного к ослиной спине, и осёл стоит с выражением глубочайшего презрения ко всему происходящему – старик узнал Гершона.

Старик был сухой, горбатый, с бородой, пожелтевшей от дыма и возраста, и глаза у него были такие, какие бывают у людей, которые видели слишком много и запомнили больше, чем следовало. Он схватил Гершона за рукав – цепко, костлявыми пальцами, как хватает ястреб мышь – и сказал:

– Ты. Ты приходил к моему деду. Тридцать лет назад. Я был мальчишкой, я помню. Ты говорил ему про звёзды, когда он умирал. И ты не изменился. Ни одного седого волоса. Ни одной морщины. Кто ты?

Вокруг – рынок гудел, торговец рядом ругался с покупателем из-за цены на медный нож, женщина несла на голове кувшин с водой, и вода плескалась через край и текла ей по лицу, и она не замечала – привыкла. Никто не обращал внимания на старика с горящими глазами и на человека, которого он держал за рукав.

Гершон посмотрел на меня. Быстрый взгляд, которым мы обменивались в таких случаях – «выручай» – и я шагнул вперёд.

– Вы ошибаетесь, п-почтенный, – сказал я, и голос мой звучал ровно, с тем спокойствием, которое даётся не уверенностью, а практикой. – Это его сын. Они очень похожи. Отец умер десять лет назад.

Старик отпустил рукав. Посмотрел на Гершона – внимательно, щурясь, как щурятся близорукие, – и неуверенно кивнул.

– Похож, – пробормотал он. – Очень похож. Те же глаза. Жёлтые. Как у кошки.

Он ушёл, и его поглотила толпа рынка, и пыль, и крики, и верблюжья пена на песке.

Эту отговорку я придумал давно – «это мой отец, мы похожи» – и она работала, пока не переставала: человеческая память коротка, но не настолько, чтобы не отличить отца от сына, если отец и сын выглядят одинаково на протяжении тридцати лет. Каждые полвека приходилось менять деревню. Каждый век – имя. Каждые два – историю происхождения, родственников, легенду. Я вёл это в голове, как пастух ведёт стадо: этому козлу – направо, этой козе –

налево, этот ягнёнок – новый, ему ещё не присвоен номер, а тот баран – старый, его помнят, пора резать или продавать, то есть уходить или менять имя.

Бессмертие – не подарок. Бессмертие – это бухгалтерия.

Гершон не всегда побеждал. Были те, кого слова не доставали, – и не потому, что ложь была плохая, а потому, что горе было глубже лжи. Были те, кто слушал и кивал, и благодарил, и уходил, и через неделю вешался на оливковом дереве, потому что звёзды – это красиво, но верёвка – надёжнее. Были те, кто плевал ему в лицо: «Уходи, лжец, я знаю, что ты врёшь, я вижу по твоим глазам, и глаза у тебя нечеловечьи, жёлтые, как у шакала, и слова твои – шакальи, и пусть шакал утешает мёртвых, я ещё живой».

Этих Гершон отпускал. Не спорил, не настаивал, не возвращался. Вставал, отряхивал колени и уходил, и полынь оставалась в шатре ещё на час после его ухода, а потом выветривалась, как выветривается всё – слова, запахи, обещания, люди.

Но после каждого такого ухода что-то менялось в нём. Не сразу, не целиком – осколок, трещинка, зазубрина. Как зазубривается лезвие ножа, которым режут слишком твёрдое: нож всё ещё режет, но линия разреза уже не ровная, и тот, кто знает, видит.

Я знал. Я видел.

В первый век нашего знакомства Гершон входил в любой шатёр, к любому горю, без колебаний, как бросаются в воду за тонущим, – не проверяя глубину, не спрашивая, умеет ли тонущий плавать. Во второй – стал останавливаться у входа. На секунду, на полсекунды, – но я замечал: рука на пологие замирала, и что-то мелькало в глазах, короткое, как вспышка, и это что-то было – не страх, но предчувствие страха, тень сомнения, которую он тут же прогонял, как прогоняют муху, привычным движением, – и входил. Но секунда была. И с каждым десятилетием становилась длиннее.

Мы уходили из деревень так, как уходят воры: ночью, тихо, забрав нажитое, – хотя нажитого было немного: бессмертные налегке путешествуют удобнее. У Гершона – мешок с камнями (он всё ещё собирал камни с надписями, и мешок тяжелел с каждым веком, и Шимон однажды спросил: «Зачем тебе чужие камни?» – и Гершон ответил: «Потому что свои слова я не записываю, а чужие – хочу сохранить»). У меня – ничего, кроме памяти. У Шимона – мешочек с камешками, маленькими, гладкими, по одному из каждого места, где он жил, и мешочек позвякивал при ходьбе, и по звуку можно было определить, далеко ли Шимон, – как по колокольчику определяют, далеко ли корова.

Мы меняли имена. Гершон становился Гершем, потом Горшем, потом Гиршем, потом снова Гершоном – круг замыкался, и первое имя забывалось. Я был Мойшей, потом Моше, потом Мушей, потом снова Мойшей, и заикание переезжало вместе со мной, как переезжает кот, – не потому что хочет, а потому что некуда деться. Шимон не менял имени никогда. «Зачем? – говорил он. – Шимон – короткое, удобное, и к нему привыкли все колодцы, которые я обещаю починить».

Мир менялся вокруг нас – медленно, как меняется русло реки, незаметно для тех, кто стоит на берегу, и очевидно для тех, кто помнит, где берег был раньше. Лагерь с козыми шатрами сменился деревнями с каменными домами. Деревни обросли стенами. Стены обросли башнями. На рынках появились монеты вместо бартера, и торговцы заговорили на языках, которых Гершон не понимал, и я переводил, и переводы мои были точнее его импровизаций, но бесполезнее, потому что точность не утешает, а импровизация – утешает, в этом разница между мной и им, и разница эта не менялась, сколько бы веков ни прошло.

Козы оставались козами. Колодцы оставались колодцами. И Шимон оставался Шимоном.

Однажды – я не помню, в какой именно деревне и в каком десятилетии, потому что деревни слипались в памяти, как финики в мешке, – Гершон остановился у входа в шатёр умирающего и не вошёл.

Не потому что боялся. Не потому что устал. Он стоял, и рука его лежала на пологе, и полог был козий, и от козьей шкуры пахло дымом и жиром, и за шкурой кто-то стонал, тихо, ровно, как стонет ветер в щели, – и Гершон стоял и не входил.

Я подошёл сбоку. Не спросил – посмотрел. Его лицо было обычным: широкие скулы, борода, жёлтые глаза, морщины, которых не было – морщины для стареющих, а он не старел, – но что-то стянулось вокруг рта, как стягивается кожа на барабане, когда её сушат на солнце. Напряжение, которого раньше не было.

– Шимон, – сказал он, не поворачивая головы. – Пусть Шимон пойдёт.

Шимон стоял у колодца – как обычно, мокрый, с верёвкой в руках, – и услышал, и вздрогнул, потому что Гершон никогда не посылал никого вместо себя. Это было – впервые.

Шимон посмотрел на меня. Я кивнул. Шимон отпустил верёвку, бадья плеснула, и он пошёл к шатру, вытирая руки о бёдра, и пах костром и мокрым камнем, и у входа остановился на секунду – как останавливался Гершон, только короче, – и вошёл.

Из шатра донёсся его голос – непривычно низкий, осторожный, как голос человека, который впервые говорит слова, которые слышал от другого, и не уверен, что имеет на них право. Я не слышал, что именно он говорил, но знал: звёзды. Шимон выбрал звёзды, потому что это была первая версия, которую он запомнил, – та самая, которую Гершон рассказал Нахуму, в ту ночь, когда Шимон стоял рядом со мной у входа и видел чудо.

Гершон повернулся и ушёл. Я стоял и смотрел ему в спину – широкую, прямую, пахнущую полынью – и видел, как он идёт, не оглядываясь, к своему шатру, и садится у входа, и достаёт из мешка камень, и рассматривает надпись, которую кто-то когда-то нацарапал на его поверхности, – и не читает, просто держит в руках, и камень нагревается от ладоней, и ладони остывают от камня, и ни камень, ни ладони не знают, кому из них хуже.

Я не сказал ничего. Не подошёл. Не спросил «почему».

Потому что знал. Мальчик в оазисе, которого не спасли. Старик с пряжкой, который кивал и верил, а потом – не верил. Тот, который плюнул. Та, которая целовала руки, а потом хоронила ребёнка, которому река не помогла. Каждый оставлял зазубрину, и зазубрин за два века стало столько, что лезвие перестало резать ровно, и Гершон это чувствовал, даже если не говорил, – и впервые послал другого.

Это был первый раз.

Не последний.

Глава третья

Встреча на рынке

Городок назывался Шхем, или Сихем, или как-то ещё – названия менялись каждые полвека, вместе с завоевателями, и жители привыкли откликаться на любое, как собака, которую перепродавали трижды, откликается на три клички одинаково вяло. Городок стоял в ложбине между двумя холмами, и ветер с моря доносил запах соли и гниющих водорослей, а ветер с гор – запах козьего навоза и дикого тимьяна, и два запаха встречались на рыночной площади и сплетались в третий, для которого не было названия, но который означал одно: здесь торгуют.

Рынок в Шхеме был не тот, к которому мы привыкли, – не пять шатров у колодца, где двое кочевников обменивают козу на мешок ячменя и расходятся до следующего новолуния. Этот рынок занимал целую площадь, мощённую плоскими камнями, кое-где треснувшими, между трещинами проросла трава, и по траве бегали дети, и по детям бегали собаки, и по собакам никто не бегал – собаки были быстрее всех остальных.

Торговцы стояли рядами. Финикийцы – в левом углу, смуглые, бородатые, в полосатых халатах, перед ними на разостланных тканях лежало стекло: бусины, флаконы, кубки – прозрачные, зеленоватые, с пузырьками воздуха внутри, и солнце проходило сквозь них и рисовало на камнях цветные пятна, которые двигались вместе с облаками. Египтяне – в правом, стоя за деревянными прилавками, продавали папирус, льняные ткани и подведённую сурьмой краску для глаз, которую женщины покупали, пряча деньги от мужей, а мужья делали вид, что не замечают. Местные – в центре, беспорядочно, с козами на верёвках, с мешками зерна, с кувшинами масла, заткнутыми тряпками, из-под которых текло на камни и блестело на солнце.

Шум стоял такой, что я различал отдельные голоса только в те секунды, когда кто-нибудь орал громче остальных, – а орали все, потому что торговля без крика, как объяснил мне один финикиец, – это не торговля, а кража, только тихая.

Я пришёл за солью. Гершон – за ничем: он ходил на рынок, как другие ходят к реке, – смотреть на людей, слушать разговоры, впитывать тот гул чужих жизней, который заряжал его, как заряжает колодец подземная вода. Шимон остался в лагере и чинил шатёр, хотя «чинил» – слово неточное: Шимон скорее разглядывал прореху в козьей шкуре и прикидывал, с какой стороны к ней подступиться, а подступиться не мог, потому что нитки кончились на прошлой неделе, а за нитками нужно было идти на рынок, а на рынок он идти не хотел – предпочитал чинить, а не покупать, – замкнутый круг, в котором Шимон жил с удовольствием, потому что замкнутые круги освобождают от необходимости действовать.

Я стоял у прилавка с солью – крупной, серой, пахнущей морем и рыбой, – и торговался с продавцом, толстым человеком с бородавкой на левой щеке и привычкой щёлкать языком после каждого предложения. Он просил два медных слитка за меру, я предлагал один, он щёлкал языком и качал головой, я стоял и ждал, потому что торговля – это терпение, а терпения у меня было больше, чем у любого смертного, и продавец этого не знал, и не узнает, и я стоял и ждал, и солнце жарило, и тень от навеса не доставала до моих ног, и сандалии нагрелись так, что подошвы горели.

За моей спиной засмеялись.

Не весёлый смех – едкий, тот, которым смеются, когда поймали кого-то на вранье и радуются не правде, а самому факту поимки.

Я обернулся.

Трое стариков стояли у прилавка с оливками – чёрными, блестящими, плавающими в масле в глиняном чане, – и спорили. Вернее, двое спорили, а третий слушал и посмеивался, подбрасывая оливку на ладони, как подбрасывают кость, когда ставка уже сделана.

– Мой мудрец говорил: после смерти душа поднимается к звёздам, – сказал первый, сухой, высокий, с палкой в руке, которой он стучал по камням в такт словам. – Каждая звезда – это чья-то душа. Мой отец – звезда. Мой дед – звезда. Я буду звездой. Вот и всё.

– Какие звёзды? – второй, коренастый, с красным обветренным лицом и руками, на которых не хватало двух пальцев на левой, – засмеялся тем самым едким смехом. – Мне говорили другое. После смерти – в землю, к предкам. Кости лежат в земле, и ты ложишься рядом, и предки принимают тебя, и ты становишься частью земли, из которой вырастает хлеб, и хлеб этот едят твои внуки, и ты живёшь в их крови.

– Это ты придумал, – сказал первый.

– Это мне сказал мудрец! Старик с жёлтыми глазами, он приходил к нам десять лет назад, когда мать моя умирала. Он сидел рядом и говорил про землю, и мать улыбнулась, и умерла с улыбкой.

– И ко мне приходил старик! С жёлтыми глазами! Но он говорил не про землю, а про звёзды!

Они замолчали. Посмотрели друг на друга. И я видел, как в глазах обоих зажёгся один и тот же вопрос – медленно, как зажигается масляная лампа, фитиль сначала дымит, потом тлеет, потом вспыхивает.

– Старик с жёлтыми глазами, – повторил первый.

– С жёлтыми, – подтвердил второй.

– Высокий? Широкоплечий? Борода чёрная? Пахнет полынью?

Тишина. Тишина посреди рынка – невозможная, неестественная, как яма в воде, – и рынок гудел вокруг, и никто не обращал внимания на двух стариков, замерших у чана с оливками, но я слышал эту тишину так отчётливо, как слышат удар колокола в пустом поле.

– Один и тот же, – сказал второй.

– Один и тот же мудрец. Одному сказал – звёзды. Другому – земля. Так что на самом деле?

Третий старик, тот, который посмеивался, подбросил оливку в последний раз и поймал, и раздавил между пальцами, и масло потекло по ладони, и он вытер руку о штаны.

– А мне, – сказал он, – другой мудрец рассказывал третье. Что после смерти – суд. Стоишь перед судьёй, и судья взвешивает твои дела на весах, и если правая чаша тяжелее – направо, в свет, а если левая – налево, в темноту. И мудрец этот был тоже с жёлтыми глазами. И тоже пах полынью.

Я перестал дышать.

Три версии. Три деревни. Один Гершон.

Рынок гудел вокруг – торговец рядом ронял кувшин с маслом, масло растекалось по камням, кто-то поскользнулся и ругался на арамейском, ребёнок тянул мать за подол к прилавок с медовыми лепёшками, финикиец считал медные слитки, складывая в стопку и пересчитывая, и стопка падала, и он считал заново, – а я стоял и смотрел на трёх стариков, которые только что, сами того не зная, обнаружили то, чего я боялся все эти века: что наши истории не совпадают.

Первый старик поднял палку и указал на второго.

– Ты говоришь – земля. Я говорю – звёзды. Он говорит – суд. Не может быть и то, и другое, и третье. Кто-то из нас обманут.

– Все обмануты, – сказал третий и сплюнул оливковую косточку на камни.

– Мудрец врёт!

– Мудрецы всегда врут, – сказал третий. – Для этого они и нужны.

Первый замахнулся палкой – не на третьего, а на второго, потому что второй стоял ближе, и гнев, как вода, течёт по кратчайшему пути. Второй отшатнулся, задел локтем прилавок с оливками, чан покачнулся, маслины хлынули на камни, торговец закричал, собака метнулась к маслинам и начала есть, ребёнок заревел, мать ребёнка закричала на собаку, собака зары-

чала на мать, и рынок, который только что гудел ровно и привычно, вспыхнул – не огнём, а тем быстрым, весёлым, бессмысленным хаосом, который вспыхивает в толпе от одной искры и гаснет через десять минут, но оставляет после себя разбитый чан, рассыпанные маслины, укушенную собаку и синяк под глазом у второго старика.

Я ушёл без соли.

Гершон сидел на плоской крыше дома, в котором мы жили, – глинобитного, одноэтажного, с крышей, на которой хозяйка сушила инжир на соломенных подстилках. Инжир был тёмный, мягкий, липкий, и осы кружились над ним, и Гершон сидел среди ос и инжира, свесив ноги, и смотрел на закат, и от него пахло полынью, и я подумал: как можно пахнуть полынью в городе, где полыни нет? – но Гершон пах полынью всегда, в любом городе, в любом веке, как некоторые люди пахнут дымом, даже когда не сидят у костра, – запах стал частью кожи, частью существа, и отделить его было невозможно, как невозможно отделить тень от предмета.

– Нас п-поймали, – сказал я.

Он не обернулся. Оса села ему на плечо, и он не шевельнулся, и оса посидела и улетела, неудовлетворённая.

– На чём? – спросил он, не отрывая взгляда от заката, который наливался багровым за холмами, и облака над ним горели, и если бы Гершон рассказывал об этом закате кому-нибудь умирающему, он сказал бы, что облака горят, потому что за ними – Бог разводит костёр, и на костре жарит мясо для тех, кто заслужил, и дым поднимается к звёздам, и звёзды чихают, – я знал, как он думает, потому что слушал его достаточно долго, чтобы предсказывать.

– На вранье.

– Мы всегда ввали.

– Мы ввали по-разному, Гершон. И пока мир был маленьким – никто не сравнивал. Три дня п-пути между деревнями – три дня тишины, в которую помещается любая ложь. Но мир стал тесным. Торговцы ходят от деревни к деревне за день. Женщины встречаются на рынке и говорят. Старики сидят у одного прилавка с оливками и обнаруживают, что одному ты рассказывал про звёзды, а другому – про землю, а третьему – про суд. И задают вопрос, на к-который у нас нет ответа: так что – на самом деле?

Гершон повернулся. Инжир прилип к его ладони, и он стряхнул его, и инжирина упала с крыши и шлёпнулась о камень внизу, и собака подобрала.

– И что ты предлагаешь?

– Записать.

Он посмотрел на меня так, как смотрят на человека, предложившего тушить пожар маслом, – с интересом, но без одобрения.

– Записать – что?

– Одну версию. Окончательную. Из всех, что ты рассказывал за все эти годы, – выбрать лучшее, убрать противоречия, свести в один текст. Звёзды или земля – что-то одно. Суд или милость – что-то одно. И записать так, чтобы нечего было сравнивать – сравнивать будет не с чем: одна история, одна версия, один Бог.

– Записать, – повторил он, и в голосе его не было ни насмешки, ни гнева, а было то, что я слышал редко: растерянность. Гершон привык говорить, а не писать. Его стихия – воздух, а не глина. Воздух движется, меняется, живёт. Глина – застывает.

– Записанное – мёртвое, – сказал он.

– Записанное – неизменное.

– Это одно и то же, Мойша. Живое слово дышит, меняется, растёт. Вчера – звёзды, сегодня – земля, завтра – что-нибудь новое, чего я ещё не придумал, потому что ещё не видел лица, которому буду это рассказывать. Каждое лицо – другая история. Каждое горе – другое утешение. Я не могу утешить всех одной фразой, как не могу напоить всех одним глотком.

– Ты не можешь, – согласился я. – Но глотки кончаются, Гершон. Ты н-не вечен. Вернее – вечен, но память твоя – нет, и моя – нет, и рано или поздно ты сам забудешь, что говорил, и кому, и когда. И тогда не старики на рынке поймают тебя – ты сам себя поймаешь. Скажешь одному «звёзды» и через час – тому же – «земля», и он посмотрит на тебя и спросит: «Ты только что говорил другое», – и ты не ответишь, потому что не вспомнишь.

Гершон молчал. Осы гудели. Закат уходил за холмы, и тени ползли по площади, и рынок внизу затихал – торговцы складывали товар, финикийцы сворачивали ткани, кто-то подметал рассыпанные маслины, и собака, укравшая инжир, лежала у стены и лизала лапу, и всё это было обычным, вечерним, повторяющимся, и Гершон смотрел на это и видел то, что видел я: мир, который стал слишком тесным для импровизации.

– Допустим, – сказал он наконец. – Допустим, ты запишешь. Одну версию. Одного Бога. Одну историю. И что тогда? Тот, кому не подходит эта версия, – что будет с ним? Тот, кого не утешают звёзды, – а я бы утешил землёй, но записано – звёзды, и записанное не изменишь, – что будет с ним?

– Он уйдёт.

– Вот именно. Он уйдёт. А раньше – не ушёл бы, потому что завтра я бы рассказал ему другую историю, подходящую именно ему, и он бы остался.

– Или не остался бы.

– Или не остался бы, – Гершон кивнул. – Но у него был бы шанс. Второй. Третий. Десятый. А записанное – одно. И шанс – один. И тот, кому не подошло, – уходит навсегда.

Мы замолчали. Внизу хозяйка выплеснула помой из окна – серая вода пролетела мимо собаки, собака не вздрогнула – и вода впилась в сухую землю, оставив тёмное пятно, которое побледнело за минуту и исчезло за две.

– Живое слово врёт по-разному каждый вторник, – сказал я.

– В этом его сила.

– В этом наша п-проблема. Потому что вторники кончились, Гершон. На рынке – три старика, которые знают, что ты им рассказывал разное. Завтра будут тридцать. Через год – триста. Мир растёт, дороги множатся, люди пересекаются. И каждый несёт свою версию, и версии сталкиваются, и из столкновения рождается не вера, а сомнение, и сомнение убивает вернее любого вопроса, – ты видел Нахума, ты знаешь.

Гершон снял с плеча осу, которая вернулась и села повторно, – снял осторожно, двумя пальцами, не раздавив, и положил на инжирину, и оса погрузила хоботок в мякоть и забыла о нём, – и посмотрел на меня.

– Ты это давно носишь, – сказал он. Не спросил – сказал.

– Давно.

– Сколько?

– Достаточно.

Он встал. Отряхнул колени – привычно, хотя инжир не пачкает колени, а запах полыни не отряхивается – и протянул мне руку, как протягивают человеку, который стоит на краю колодца и думает, прыгать или нет.

– Записывай, – сказал он. – Но знай: ты убьёшь мои слова.

– Я их спасу.

– Спасти – значит оставить живыми. А ты – заморозишь. Живое слово дышит, меняется, растёт вместе с тем, кому его рассказывают. Записанное – одинаковое для всех, и в этом его удобство, и в этом его ложь, потому что люди – разные, а текст – один, и текст притворяется, что подходит каждому, а подходит – среднему, а среднего человека не существует, я проверял.

– Мёртвое не врёт по-разному каждый вторник.

– Мёртвое не врёт вообще, Мойша. Мёртвое – молчит. А молчание – это не правда. Молчание – это самая страшная ложь, потому что в молчание каждый вкладывает своё, и каждый уверен, что услышал именно то, что хотел, и никто не проверяет, потому что проверять нечего.

Он ушёл с крыши. По лестнице, которую хозяин приставил к стене и которая шаталась на каждом шагу – одна перекладина была трухлявая и давно нуждалась в замене, но хозяин был не Шимон, хозяин был смертный и починил бы завтра, если бы знал, что завтра – последний день, но он не знал, и завтра длилось и длилось, и перекладина гнила и гнила, и лестница шаталась, как шатается всё, что никто не чинит.

Я остался на крыше. Один, среди инжира и ос. Закат ушёл. Звёзды проступили – те самые, про которые Гершон рассказывал Нахуму, и пастуху, и старику, и тысяче других, каждый раз по-новому, каждый раз красиво, каждый раз – неповторимо.

Завтра я начну записывать. И неповторимое станет повторяемым. И красивое станет одинаковым. И живое станет вечным, что, по словам Гершона, одно и то же, что мёртвое.

Но старики на рынке не будут драться из-за маслин.

И это – что-то.

Или нет.

Но другого у меня не было.

Глава четвёртая

Сорок дней

Холм был невысокий – если честно, его и холмом назвать было трудно: каменистая насыпь в получасе ходьбы от лагеря, с плоской вершиной, на которой росло одинокое дерево, колючее и кривое, с корнями, вцепившимися в трещину между камнями, как пальцы в обрыв. Дерево давало тень на полтуловища – если сесть вплотную к стволу, голова оказывалась в тени, а ноги – на солнце, и к полудню ноги горели, а голова мёрзла, и приходилось выбирать, что важнее: ясная голова или целые ступни.

Я выбрал голову. Ступни терпели.

С вершины был виден лагерь – россыпь шатров, дымки от костров, точки людей, перемещающихся между шатрами с той бессмысленной целеустремлённостью, которая отличает живых от мёртвых: живые всегда идут куда-то, даже если идти некуда. Козы паслись на склоне – белые, рыжие, одна чёрная, и чёрная стояла выше всех, на камне, как стоял козёл в первой главе этой истории, и я подумал: козлы не меняются, в отличие от людей и их богов. Дальше, за лагерем – пустыня, жёлтая, плоская, бесконечная, и на горизонте – дрожание воздуха, и в дрожании – миражи: озёра, которых нет, деревья, которые не растут, города, которые никто не строил.

Глина лежала передо мной – комом, мокрая, прохладная по утрам, когда роса ещё не высохла, и тёплая к полудню, податливая, живая. Рядом – кувшин с водой, которую принёс Шимон утром и которой хватало до вечера, если не расплёскивать и не поить козу, которая повадилась подниматься на холм за мной и стояла в трёх шагах, жевала колючку и смотрела, как я работаю, с выражением доброжелательного непонимания.

Стилос – заострённая тростинка, одна из семи, которые я нарезал у ручья перед подъёмом – тростинки ломались: вторая – к вечеру, третья – к утру следующего дня, и каждый раз я затачивал новую, и каждая давала чуть другую линию, чуть другой нажим, и по смене тростинок внимательный глаз мог прочитать мои рабочие дни, как читают кольца на спиле дерева.

Я сидел, и глина лежала, и коза жевала, и внизу лагерь жил своей жизнью, и я начал.

Первое слово – самое трудное. Не потому что я не знал, что писать, – я знал слишком много: за столетия Гершон наговорил столько версий, что из них можно было составить десять книг, и каждая была бы убедительной, и каждая противоречила бы остальным девяти. Трудность была в выборе. Из тысячи вариантов – один. Из десяти начал – одно. Из ста имён Бога – одно, и это одно должно было звучать так, как будто другого никогда не существовало.

Гершон однажды начал историю сотворения мира словами: «Бог проснулся и увидел, что вокруг – ничего, и ему стало скучно». Красиво, но опасно: Бог, которому скучно, – Бог с недостатком, а Бог с недостатком – уязвим, а уязвимый Бог – не внушает доверия тем, кому нужен камень, на который можно опереться, а не подушка, в которую можно зарыться.

В другой раз он начал так: «Бог сказал – да будет, и стало». Коротко, властно, но сухо, как хлопок бича, – и кому нужен Бог, который хлопает бичом? Рабам, может быть. Свободным – нет.

В третий раз – самый удачный, тот, который он рассказал Нахуму: «В начале была пустота. Тьма. Ни песчинки, ни капли. Ничего. А потом кто-то захотел видеть. И сказал – да будет свет». Вот это работало. Не «проснулся» – «захотел». Не «скучно» – «пустота». Не «хлопнул бичом» – «сказал». Гершон нащупал это случайно, глядя на тьму за пологом шатра, в ту ночь, когда Нахум умирал, – и я запомнил, и хранил, и теперь доставал с полки, как достают лучшую посуду для гостя.

Но Гершон сказал «пустота». А я записал: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

Чувствуете разницу? Одно – камешек, брошенный в колодец: звонко и коротко. Другое – река, которая течёт, и несёт, и не останавливается, и каждое слово тянет за собой следующее, как волна тянет волну, и ритм этот входит в тело через уши и остаётся в рёбрах, и человек повторяет, не понимая, что повторяет, просто – музыка красива. Гершон давал мне камень. Я делал из камня скульптуру. Он бросал зерно. Я поливал.

Коза подошла ближе и ткнулась мордой в мой локоть. Я отодвинул её – привычным движением, не глядя, – и она обиделась и ушла жевать колючку в трёх шагах, и её челюсть ходила из стороны в сторону, и ритм этот был ровнее моего, и я позавидовал, потому что мой ритм сбивался каждый раз, когда я сомневался в написанном, и сомневался я часто, и буквы в этих местах ложились криво, как ложится походка у человека, который оступился и пытается делать вид, что не оступался.

На пятый день я дошёл до сотворения человека и остановился.

Из чего? Из глины, как горшок? Из земли, как дерево? Из слова, как всё остальное? Гершон в разные годы предлагал разное: одним – глину, другим – дыхание, третьим – искру от костра. Каждый вариант имел достоинства: глина – понятна, дыхание – поэтично, искра – красива. Но нужен один.

Вечером, в лагере, я ел кашу – ячменную, пресную, с каплей масла, которую хозяйка добавляла скупно, поворачивая кувшин по капле, как будто масло было кровью, – и Шимон сел рядом. От него пахло костром и речным камнем: он весь день таскал камни от ручья к лагерю – стенка загона для коз обвалилась, козы разбежались, и Шимон ловил их полдня, а вторую половину строил стенку, и стенка получилась кривая, но козы не разбирались в архитектуре и вернулись.

– Что сегодня? – спросил он, перекатывая камешек между пальцами. Камешек был новый – светлый, с прожилками кварца, подобранный у ручья.

– Человека, – ответил я. – Не могу решить, откуда его взять.

– Откуда берутся люди?

– Из глины, – сказал я. – Или из ребра.

Шимон перестал перекачивать камешек и посмотрел на меня.

– Из ребра? Чьего?

– Первого человека. Бог создаёт мужчину, потом вынимает у него ребро и делает из ребра женщину.

– Зачем из ребра? Почему не из той же глины?

– Потому что из глины – равные. Оба – одинаковый материал, одинаковое происхождение. А из ребра – плоть от плоти, часть от целого, и значит – связаны, и значит – не могут друг без друга, и значит – семья, а семья – основа, а основа – это то, во что верят, даже когда не верят ни во что остальное.

Шимон подумал. Подбросил камешек, поймал. За нашими спинами женщина ругала мужа за то, что не принёс воды, и муж оправдывался, и голоса их перекачивались, как камни в ручье – гладко, привычно, отполированно десятилетиями совместной жизни.

– Из ребра, – сказал Шимон. – Люди любят, когда больно. Когда за что-то заплачено. Бесплатное – не ценят. Глина – бесплатная. А ребро – это жертва, это боль, и боль делает вещь настоящей.

Я посмотрел на него – на обветренное лицо, на руки в ссадинах от камней, на глаза, в которых горел костёр, отражаясь маленькими рыжими точками, – и подумал: ему пятьсот лет, а он видит то, на что мне понадобились столетия. Может быть, дело не в возрасте, а в руках:

тот, кто строит стенки и таскает камни, понимает цену материала лучше, чем тот, кто царапает по глине тростинкой.

– Из ребра, – согласился я.

Утром поднялся на холм, и глина была прохладная, и коза ждала на месте, и я написал: «И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену».

Красиво. Больно. Правда? Нет. Но – работает.

На двадцатый день я понял, что числа – это инструмент.

Не содержание – форма. Не факт – ритм. Семь дней сотворения мира – не потому что мир создавался семь дней (он не создавался вообще, потому что не было никакого создателя, но об этом – молчу), а потому что семь – число, которое люди запоминают. Семь – священо. Не спрашивайте почему – я проверял, за столетия спрашивал у десятков людей, почему семь, и никто не мог объяснить, но все соглашались: семь – особенное. Может быть, дело в пальцах: на одной руке – пять, к ним добавляешь два с другой, и получается семь, и семь – это предел того, что можно показать быстро, без пересчёта. А может, дело в лунных фазах, которые длятся примерно семь дней каждая. А может – ни в чём, и семь просто звучит правильно, как звучит правильно определённая нота в мелодии, и объяснять это бессмысленно, и я перестал объяснять и начал пользоваться.

Двенадцать колен Израилевых – не потому что колен было двенадцать (сколько их было на самом деле, никто не считал, и Гершон называл разные цифры в разные годы: то десять, то четырнадцать, то «достаточно»). Двенадцать – торжественно: двенадцать месяцев в году, двенадцать часов дня, двенадцать камней в нагруднике первосвященника, которого я ещё не придумал, но придумаю, и камней будет двенадцать – торжественное число делает вещь торжественной, а нагрудник без торжественности – просто тряпка.

Сорок дней на горе – не потому что я провёл сорок дней (я провёл тридцать восемь, но тридцать восемь – ни о чём, ни уму ни сердцу, пыль на ветру). Сорок – эпично. Сорок дней потопа, сорок лет скитаний, сорок дней поста – сорок повторяется, и повторение создаёт паттерн, и паттерн создаёт веру, потому что вера – это узнавание: человек слышит «сорок» и вспоминает, что уже слышал «сорок» в другом месте, и совпадение кажется ему знаком, а знак – доказательством, а доказательство – правдой. Хотя единственное, что доказано, – это то, что я люблю круглые числа.

Коза перестала подниматься на холм к двадцатому дню. Может быть, ей надоело смотреть, как я пишу. Может быть, нашла лучшую колючку внизу. Я скучал по ней – по козе, не по колючке, – и скучание это было единственным честным чувством за весь период работы, потому что всё остальное, что я чувствовал, – сомнение, вину, гордость, страх – было связано с текстом, а текст был ложью, а чувства по поводу лжи – сомнительны. Но скучать по козе – можно, потому что коза – настоящая, и скучание по ней – настоящее, и в мире, где всё придумано, коза – это якорь.

На тридцать второй день я показал Шимону десять заповедей и попросил вырезать их на камне.

Шимон прочитал – медленно, шевеля губами, как шевелят губами люди, для которых чтение – не привычка, а труд. Камешек в его руке замер. Он дочитал, посмотрел на меня, потом на заповеди, потом снова на меня.

– «Не убий», – прочитал он вслух. – Коротко.

– В этом – смысл. Два слова бьют сильнее четырёх. «Не убивай других людей» – это инструкция. «Не убий» – это молния.

– А «не кради»?

– То же.

– А «не прелюбодействуй»?

– Длинное, – признал я. – Но короче не получается. «Не блуди» – вульгарно. «Не изменый» – слишком бытовое. «Не прелюбодействуй» – звучит как запрет из храма, и люди уважают то, что звучит из храма, даже если не понимают, что именно запрещено.

Шимон хмыкнул, подбросил камешек и пошёл за резцом. Резец он хранил в кожаном свёртке, рядом с молотком и тремя клиньями, – инструменты, которые были старше большинства людей в лагере, и которые Шимон затачивал раз в месяц на плоском камне у ручья, и звук заточки – ритмичный, скрежещущий – разносился по лагерю утром, как петушинный крик, только надёжнее: петухи иногда молчат, а Шимон – никогда, если дело касалось заточки.

Камень для скрижалей мы нашли на склоне – плоский, серый, с розоватыми прожилками, тяжёлый настолько, что Шимон тащил его волоком, и на камне оставалась борозда, и борозда эта вела от склона к шатру, как след змеи, и дети бегали по ней и спрашивали: «Что это?» – и Шимон отвечал: «Дорога для слов», – и дети не понимали, и убегали, и Шимон усмехался – ему нравилось говорить непонятное и смотреть, как люди пытаются понять.

Вырезал он три дня. Я сидел рядом и смотрел, как резец входит в камень – с усилием, с хрустом, с облачком каменной пыли, – и буквы проступали одна за другой, неровные, угловатые, не такие, как на моей глине, где линии плавные и послушные. Камень сопротивлялся – глина не сопротивлялась, и в этом сопротивлении было что-то правильное: заповеди должны быть высечены с усилием, должны стоить труда, иначе они выглядят легковесными, а легковесное – не боятся нарушать.

Две заповеди вышли криво: «Не кради» – буква «д» сползла вниз, а «Почитай отца и мать» – слово «мать» оказалось мельче слова «отец», что могло быть истолковано как неуважение к матерям, хотя Шимон просто не рассчитал место.

– Переделать? – спросил он, вытирая пыль со лба. Лоб был в каменной крошке, и крошка блестела на солнце, и он был похож на человека, которого осыпали мелкими звёздами.

– Сойдёт, – сказал я. – Люди не будут рассматривать камень. Люди будут слушать слова.

– А если рассмотрят?

– Скажем, что Бог торопился.

Шимон засмеялся – коротко, сухо, как смеётся человек, который ценит шутку, но не хочет показать, насколько. Положил резец, взял камешек из мешочка и добавил новый – отколовшийся от скрижали, с острым краем, – и мешочек позвякнул, как колокольчик на шее козы.

На тридцать восьмой день – которому предстояло стать сороковым, потому что тридцать восьмой не годится ни для чего, кроме бухгалтерии, – я спустился с холма.

Утро было прохладное, и роса ещё лежала на камнях, и сандалии скользили, и я спускался осторожно, прижимая к груди две скрижали – каменные, тяжёлые, с неровными буквами Шимона, – и стопку глиняных табличек в мешке за спиной, и мешок оттягивал плечо, и лямка врезалась, и я перекладывал из руки в руку, и думал: вот оно, вся мудрость мира – в мешке за спиной, и весит, как мешок камней, и выглядит, как мешок камней, и по сути – мешок камней с царапинами, которые я называю буквами, а буквы – словами, а слова – правдой, хотя правды в них не больше, чем в козе, которая стоит внизу у лагеря и жуёт, и коза хотя бы не притворяется чем-то, чем не является.

Люди ждали внизу. Откуда они знали, что я спускаюсь именно сегодня, – не знаю; может быть, Шимон сказал, может быть, женщины видели с крыши, может быть, собрались случайно – утро, роса, кто-то крикнул: «Мойша идёт с горы!» – и все побежали смотреть, потому что в лагере мало развлечений, и человек, спускающийся с горы с мешком, – это событие.

Их было человек тридцать, может сорок. Стояли полукругом у подножия – мужчины впереди, женщины сзади, дети – между ногами, как кошки. Лица – ожидающие, открытые,

голодные. Не голодные едой – голодные тем, что Гершон обычно давал им у костра: словами, которые заполняют пустоту, ответами, которые позволяют не думать. Но Гершон стоял в стороне – скрестив руки на груди, опираясь плечом о камень, и от него пахло полынью, и лицо его было непроницаемым, и я знал, что он против, и знал, что он не остановит, потому что Гершон был из тех людей, которые позволяют другим ошибаться, если считают, что ошибка – единственный способ научиться.

Старик из первого ряда – тот же, что был на рынке, сухой, с палкой, – выступил вперёд и спросил:

- Что там?
- Закон, – сказал я.
- Чей закон?
- Б-божий.
- А кто такой Бог?

Я замолчал. Стилос в моей руке – нет, стилоса не было, стилос остался на холме, рядом с козой, а в руке были скрижали, и они были тяжёлые, и пальцы побелели от каменного края, и мне хотелось положить их на землю и уйти обратно на холм, к козе, к тишине, к тростинкам, которые ломаются, и линиям, которые ложатся криво, когда сомневаешься.

Но я не положил.

– Бог, – сказал я, и голос мой не дрогнул, потому что дрожал я внутри, а снаружи держался, как держится стенка колодца, которую Шимон никогда не починит, – на одной привычке и упрямстве, – Бог – это т-тот, кто отвечает, когда ты спрашиваешь «зачем».

Они не поняли. Я видел по лицам – по сдвинутым бровям, по открытым ртам, по глазам, в которых вопрос не погас, а перешёл на другой уровень, как переходит огонь с одной ветки на другую, не потухая, а меняя форму.

Но они приняли. Не поняли – но приняли. Потому что слова звучали правильно, и ритм был правильный, и скрижали были тяжёлые, а тяжёлое – значит настоящее (Шимон был прав: люди ценят то, что стоит усилия), и утро было прохладное, и роса блестела на камнях, и всё вместе – слова, камень, роса, прохлада, тяжесть – создавало ощущение, что это не человек принёс закон, а закон нашёл человека, и через него – пришёл к людям, и человек – всего лишь посредник, сосуд, инструмент, тростинка, через которую дует ветер, и звук, который получается, – не его.

Из-за моей спины раздалось блеяние. Коза, которая перестала подниматься на холм на двадцатый день, стояла позади меня и жевала ремешок моей сандалии, и нижняя челюсть ходила из стороны в сторону, и глаза смотрели на толпу с тем же выражением, с каким смотрел козёл на камне в самом начале, – невозмутимо, борогато, с полным отсутствием интереса к богословским вопросам.

Кто-то в толпе засмеялся. Кто-то зашикал на засмеявшегося. Ребёнок потянулся к козе. Мать оттащила ребёнка. Коза дожевала ремешок и перешла к мешку с табличками.

Я отодвинул козу, сел на камень и начал читать.

Читал я до вечера. Не потому что текст был длинный – можно было уложиться за час, – а потому что после каждого отрывка люди задавали вопросы, и вопросы множились, как блохи на козьей шерсти, и каждый вопрос рождал три новых, и к полудню я понял, что записанное ничем не лучше устного в одном отношении: и то, и другое порождает вопросы, только устное – разные, а записанное – одинаковые, потому что текст один, и все спрашивают об одном и том же.

- Если Бог создал мир за семь дней, что он делал до этого? – спросил кто-то.
- Если человек из глины, почему он не размокает под дождём? – спросил другой.

– Если из ребра – почему у мужчин все рёбра на месте? Я считал, – спросил третий, и это был Шимон, и он ухмылялся, и камешек в его руке сверкал на солнце, как маленький дразнящий глаз.

Гершон стоял в стороне и молчал. Молчание его было громче всех вопросов вместе взятых, потому что молчание Гершона – это не отсутствие слов, а присутствие невысказанного, которое давит на воздух, как давит на уши вода на глубине.

Я отвечал. На каждый вопрос – ответ, на каждый ответ – новый вопрос, и к вечеру я охрип, и горло болело, и заикание усилилось, потому что заикание усиливается, когда я говорю то, во что не верю, а верил я всё меньше с каждым ответом, потому что каждый ответ был ещё одной ложью, наложенной на предыдущую, как таблички в мешке – одна на другую, и мешок тяжелеет, и лямка врезалась, и плечо ныло.

Вечером, у костра, когда люди разошлись и унесли мои слова в свои шатры, как уносят угли для домашнего очага, – Гершон подошёл.

– Ну? – сказал я.

Он молчал. Смотрел на огонь, и отблески плясали на его лице, и жёлтые глаза были почти оранжевыми, и запах полыни мешался с запахом дыма, и я ждал приговора, как ждал тогда, на холме, когда он читал написанное через моё плечо и шевелил губами.

– Работает, – сказал он наконец.

– Работает – это «п-правильно»? Или работает – это «красиво»?

– Работает – это «работает». Люди поверили.

– Люди поверили в ложь.

Он присел рядом, и кости хрустнули – привычка, не возраст, – и положил руку мне на плечо, и рука была тяжёлая и тёплая, и пахла полынью.

– Люди поверили в историю, – сказал он. – А история – это не ложь и не правда. Это то, что мы решили помнить вместе.

Я хотел возразить. Хотел сказать, что разница есть и должна быть – между тем, что было, и тем, чего не было, между фактом и выдумкой, между свидетельством и сказкой. Но промолчал, потому что Гершон был прав так, как бывают правы люди, которых невозможно переспорить: не логикой – присутствием.

Коза пришла к костру и легла у моих ног, положив голову на скрижали, которые я не донёс до шатра и оставил на земле. Скрижали были тёплые от дневного солнца, и коза лежала на заповедях, и заповеди ей не мешали, и она не мешала заповедям, и в этом было что-то утешительное, хотя я не мог объяснить, что именно.

Может быть – что камню всё равно, кто на нём лежит: человек, коза или Бог. Камень – честнее всех нас.

Глава пятая

Тот, кто не поверил

Эвен пришёл с побережья в конце лета, когда воздух над лагерем дрожал от жары и даже козы прятались в тени, лёжа на боку с открытыми ртами, похожие на вывернутые мехи. Он пришёл пешком, с мешком за спиной – от мешка несло рыбой и солью, и запах этот шёл впереди Эвена, как глашатай шёл впереди царя, объявляя о приближении, – только глашатай кричал имя, а мешок кричал рыбой, и лагерные собаки встали и пошли за ним, как паства за пророком, только честнее: собаки хотя бы понимали, зачем идут.

Эвен был широкоплечий, загорелый до красноты, с руками, покрытыми мелкими белыми шрамами – порезы от верёвок, от рыбьих плавников, от ракушек, которые нарастают на днище лодки и режут пальцы, когда их соскребаешь. Волосы его были выгоревшие до белизны, а глаза – узкие, привыкшие щуриться на солнце, отражённом от воды, и от этого прищур казалось, что он всё время смеётся, хотя смеялся он редко. С ним пришла жена – маленькая, тихая, с ребёнком на руках, и ребёнок спал, и сон его был крепче любых слов о Боге – ребёнку было всё равно, куда несёт его мать, если несёт.

Эвен остановился в лагере на три дня. Он пришёл менять рыбу на зерно – на побережье зерно не росло, а рыба водилась, и обмен был справедливый: мешок сушёной камбалы за два мешка ячменя, и оба торговца уходили довольные, считая, что обманули другого, и в этой взаимной уверенности в обмане было больше гармонии, чем во всех моих скрижалях вместе взятых.

На второй вечер Гершон рассказывал у костра.

Нет – не Гершон. Вернее, не совсем. После того как я записал текст и прочитал его людям, произошла странная вещь: Гершон перестал рассказывать свои версии. Не потому что я запретил – я не мог ему запретить, даже если бы захотел, – а потому что текст стал стеной, за которую уже невозможно было вернуться. Люди знали слова наизусть. Дети повторяли их, играя в пыли. Женщины напевали отрывки, как напевают колыбельные, – без мелодии, на одной ноте, монотонно и убедительно. И если бы Гершон рассказал что-то другое, отличное от записанного, его бы поправили. Его, который придумал всё, – поправили бы его собственными словами, записанными моей рукой.

Он это понимал. И молчал. И молчание его в те вечера у костра было такое, что я чувствовал его затылком, как чувствуют сквозняк из щели в стене.

Рассказывал Шимон. Читал по памяти – глиняные таблички были слишком хрупкие, чтобы таскать их к костру, и я запретил выносить их из шатра после того, как чей-то ребёнок уронил одну и она раскололась на три части, и я склеивал её смолой полдня, и руки мои слиплись, и Шимон сказал: «Ты прилип к собственному тексту, Мойша, – в прямом смысле», – и это была единственная шутка Шимона за тот месяц, и она была лучше, чем он думал.

Шимон читал ровно, без гершоновских пауз и переливов, без того магнетизма, который превращал слова Гершона в заклинание. Шимон читал, как читает плотник чертёж: точно, ясно, без украшений. И люди слушали – не так, как слушали Гершона (с открытыми ртами и влажными глазами), а иначе: с кивками, с бормотанием, с тем деловитым вниманием, которое уделяют договору или завещанию. Текст стал текстом. Перестал быть чудом, стал документом. И это было правильно, и это было страшно, и Гершон стоял в стороне, скрестив руки, и я чувствовал его молчание затылком.

Эвен слушал. Сидел на камне у края кострового круга, ноги вытянуты, мешок с рыбой рядом – собаки легли вокруг мешка полуколяем и ждали, как ждут верующие у храма: с терпением и надеждой, хотя храма ещё не было и не будет ещё семьсот лет. Жена Эвена кормила ребёнка, и ребёнок чмокал, и чмокание перебивало текст, но никто не жаловался, потому что

чмокание живого ребёнка важнее любых слов о Боге, и это понимали все, включая Бога, которого не существовало.

Шимон дочитал. Тишина. Стук дров в костре, искры вверх, шелест ветра в козьих шкурах шатров. Кто-то сказал: «Хорошо». Кто-то кивнул. Кто-то заплакал – женщина в третьем ряду, та самая, которая всегда плакала, при любых словах, при любой истории, потому что у неё умер муж год назад и она плакала обо всём, и слёзы её были не от текста, а от горя, которое пользовалось любым поводом, как вода пользуется любой трещиной.

Эвен встал.

– Звёзды, – сказал он.

Шимон повернулся. Я вздрогнул – потому что Эвен произнёс это слово не как вопрос и не как повторение, а как диагноз. Так врач произносит название болезни: без эмоций, с точностью, которая хуже любого крика.

– В вашем тексте – звёзды, – продолжил Эвен. – После смерти – к звёздам. Верно?

– Верно, – сказал Шимон и посмотрел на меня.

– Я видел, как звёзды падают, – сказал Эвен. Голос его был ровный, как линия горизонта, к которой он привык, глядя в море каждый день. – Ночью, над водой, они срываются и летят вниз. Если звёзды – это души, значит, души тоже падают. А если души падают – зачем мне к ним стремиться?

Тишина стала другой. Не торжественной, как после хорошего рассказа, – неудобной, как после вопроса, на который нет ответа. Женщина в третьем ряду перестала плакать и смотрела на Эвена. Собака у мешка с рыбой подняла голову и наострила уши, как будто вопрос касался и её.

Шимон открыл рот и закрыл. Посмотрел на меня. Я стоял у своего шатра, в тени, и заикание моё рвалось наружу, как рвётся кашель, – потому что ответ у меня был, но ответ был плохой, и я знал, что он плохой, и знал, что Гершон – тот, прежний Гершон, импульсивный, быстрый, – ответил бы лучше, ответил бы не словами, а интонацией, и интонация его была бы убедительнее любых аргументов. Но Гершон молчал, и молчание его говорило: «Ты записал – ты и отвечай».

– Падающие звёзды – не души, – сказал я, выступая из тени, и голос мой звучал тоньше, чем хотелось. – Падающие звёзды – это п-послания. Душа посылает весть, и весть летит к земле, и кто видит – тот получил, и получивший – благословлён.

Эвен смотрел на меня. Прищур его стал уже – щель, через которую виднелись глаза, тёмные, спокойные, как вода в глубоком колодце.

– Удобно, – сказал он. – Что ни спроси – у вас ответ. Падают – послания. Не падают – души. А если бы я сказал, что звёзды мигают, вы бы сказали – моргают. Потому что вы подгоняете ответ под вопрос, а не вопрос – под ответ. А рыбак так не делает. Рыбак знает: рыба либо есть, либо нет. И если нет – нет. Никакие слова не положат рыбу в сеть.

Он поднял мешок – собаки вскочили, – перекинул через плечо, жена встала с ребёнком, ребёнок проснулся и заплакал, и плач его был единственным честным звуком у этого костра: ребёнок плакал не от слов, а от голода, и голод – реальнее звёзд.

– Ваш Бог – для тех, кому нечего делать, – сказал Эвен, уже уходя, не оборачиваясь, и голос его звучал не зло, а равнодушно, как звучит голос человека, которому предложили товар и который отказался, не потому что товар плохой, а потому что не нужен. – А мне есть чем заняться. Утром – сети. Днём – лодка. Вечером – рыба. Между рыбой и звёздами я выбираю рыбу. Рыбу можно съесть.

Он ушёл в темноту, и жена ушла за ним, и ребёнок замолчал – качка материнского шага убаюкивала лучше любой колыбельной, и собаки проводили мешок с рыбой скорбным взглядом и легли обратно, и пустота от ухода Эвена была ощутимой, как пустота от вырванного зуба: место есть, а зуба нет, и язык тянется проверить, и каждый раз – больно.

Утром за Эвеном ушли ещё три семьи. К обеду – ещё четыре. К вечеру лагерь поредел на десять шатров, и пустые места стояли, как проплешины на голове, – с колыями, с ямами от кострищ, с забытыми вещами: миска, детский башмак (один, левый – всегда левый, правые не забывают), обрывок верёвки, дырявый бурдюк. Женщина стояла у пустого места, где был шатёр её сестры, и не плакала – смотрела, и взгляд её был хуже слёз, потому что слёзы кончаются, а взгляд – нет.

Я пошёл за Эвеном.

Не чтобы вернуть – я знал, что рыбака не вернёшь словами, как знал, что рыбу не поймашь сетью из слов. Пошёл – чтобы понять. Потому что Эвен сказал вещь, которая не давала мне покоя: «Вы подгоняете ответ под вопрос». Он был прав. Именно это мы делали – и именно это я пытался остановить, записав один текст вместо тысячи версий. Но текст не помог. Текст ответил на вопросы тех, кто хотел ответа. А Эвен не хотел ответа. Эвен хотел рыбу.

Дорога к побережью заняла два дня – по каменистой тропе, через холмы, мимо деревень, в которых я бывал десятки раз и из которых уходил десятки раз, меняя имена и сандалии. На подходе к морю воздух изменился: стал солёным, влажным, с привкусом водорослей и чего-то йодистого, живого, и я вдохнул полной грудью, и лёгкие расправились, как расправляется парус, которому наконец дали ветер, и я понял, почему Эвен выбирает море, а не пустыню: пустыня – пуста, море – полно, и в полноте моря нет места для вопросов, потому что каждая волна – ответ, и ответов столько, что вопросы тонут.

Я нашёл Эвена на берегу. Он сидел на корточках у перевёрнутой лодки и конопатил днище – вбивал паклю в щели деревянным молотком, ритмично, сосредоточенно, и каждый удар звучал как точка в конце предложения. Лодка была старая, с облупившейся краской – красной когда-то, сейчас – бурой, и на борту было нацарапано имя, стёршееся до двух букв: «Э» и «н», – может, «Эвен», а может – «Эна», имя его матери, или «Энош», имя деда, или ещё что-то, потому что имена на лодках стираются так же, как имена в памяти, – не целиком, а по буквам, и последними уходят согласные, потому что согласные – кости слова, а кости держатся дольше мяса.

Рядом плескались дети – двое, мальчик и девочка, голые, загорелые, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу. Мальчик бросал камни в воду – плоские, плашмя, и они подпрыгивали: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь подпрыгиваний. Я усмехнулся: даже камни знают, что семь – священное число.

Жена Эвена жарила рыбу на плоском камне у воды. Запах шёл оттуда невыносимо вкусный – рыба, соль, горячий камень, дым от сухих водорослей, которые она использовала как топливо, – и я сглотнул: в лагере мы ели ячменную кашу с маслом, а здесь – рыбу, и рыба была настоящей, как море, как соль, как ветер, и каша рядом с ней казалась тем, чем, по мнению Эвена, были мои слова, – суррогатом, заменой, пустотой, притворяющейся полнотой.

– Мойша, – сказал Эвен, не поднимая головы от лодки. Он узнал меня по шагам, или по запаху (я пах пустыней и козьим молоком – антипод его рыбы и соли), или просто видел краем глаза и не удивился – рыбаки не удивляются: они видят, как рыба выпрыгивает из воды и летит, и после этого ничто не удивляет.

– Эвен.

– Вернуть пришёл?

– Понять.

Он поднял голову. Молоток замер в руке. Посмотрел на меня – прищур, щель, тёмные глаза, спокойная вода колодца.

– Что тут понимать? Ваш текст – для тех, кто не видит моря. Для тех, кто сидит в пустыне и смотрит в небо, потому что больше смотреть не на что. Им нужны звёзды, потому что у них нет волн. Им нужен Бог, потому что у них нет рыбы. А мне – есть.

Он ударил молотком – пакля вошла в щель, и лодка вздрогнула, как вздрагивает живое существо от прикосновения.

– Вот моя молитва, – он поднял молоток. – Вот мой храм, – он кивнул на лодку. – Вот мои звёзды, – он показал на море, и море блестело, и в блеске его было больше ответов, чем в моих скрижалях.

Я стоял и молчал, и заикание не рвалось наружу – говорить было нечего. Эвен был прав. Мой текст – для пустыни. Для пустоты. Для тех, у кого нет ничего, кроме вопроса «зачем», и кому нужен ответ, любой, даже ложный, чтобы встать утром и дожить до вечера. А Эвен вставал утром и шёл к морю, и море давало ему рыбу, и рыба была ответом, и ответ этот пах солью и жарился на камне, и дети ели его руками, и жена улыбалась, и никакие звёзды были не нужны, потому что звёзды – для голодных, а Эвен – сыт.

Раньше, до записи, Гершон мог бы подобрать слова для Эвена. Другие слова, не про звёзды, а про море: про то, что каждая волна – это дыхание Бога, и лодка – его ладонь, и рыба – его подарок, и сеть – его объятие. Гершон нашёл бы язык, на котором Бог пахнет не полыньёю, а солью, и живёт не на небе, а в глубине, и голос его – не гром, а шум прибоя. И Эвен, может быть, послушал бы. Может быть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.